

Б И Б Л И О Т Е К А



ОГОНЁК

№ 42

1977



Михаил ЗОЩЕНКО

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 42

Михаил ЗОЩЕНКО

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1977

Михаил ЗОЩЕНКО

Михаил Михайлович Зоценко (1895—1958) принадлежит к первому поколению советских писателей. Это поколение оставило немало литературных свидетельств тех великих усилий, которые предпринимала революция, чтобы превратить нашу страну из отсталой в высокоразвитую, передовую державу. Но не только об успехах, достижениях и победах нового строя писали первые наши писатели. Кому-то надо было выполнять и «ассенизаторскую», по словам Маяковского, работу: помогать человеку избавляться от морально отживших, но еще не утративших силу пережитков сметенного революцией прошлого. Одним из таких энтузиастов-«ассенизаторов» и был сатирик и юморист М. Зоценко.

Рассказы и повести М. Зоценко были особенно популярны в 20—30-х годах. Не было такого журнала, такого издательства, которые не стремились бы заполнить новые произведения писателя. Михаила Михайловича буквально рвали на части. И, чтобы в один прекрасный день действительно «не разорваться», ему необходимо было самому выбрать издателей. Одним из таких печатных органов, выбранных М. Зоценко, стал журнал «Огонек». На его страницах печатались многие рассказы писателя, а «Библиотека «Огонек», чуть ли не каждый год отдававшая ему один из своих выпусков, собрала, по сути дела, все лучшее, что создал он в жанре сатирико-юмористической новеллы. «Аристократка», «Баня», «Кризис», «Нервные люди» и многие другие широко известные рассказы М. Зоценко вошли к читателю со страниц «Огонька» и его «Библиотеки».

И вот перед вами еще одна книжечка с рассказами М. Зоценко. В ней собрано самое популярное из того, что было опубликовано при жизни писателя. Как говорится, избранное из избранного.

Но не только мастерство Зоценко-новеллиста отметит читатель, прочтя эту книжку. Он неминуемо будет сравнивать. И, сравнив сегодняшние отношения между людьми, их культуру, их быт с тем, что было в прошлом, он придет к выводу, что не зря поработал Михаил Михайлович. В преобразовании нашей жизни есть и его доля.

Ю. ТОМАШЕВСКИЙ,
секретарь комиссии
по литературному наследию
М. М. Зоценко.

АРИСТОКРАТКА

Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:

— Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, — говорю, — ты, гражданка? Из какого номера?

— Я, — говорит, — из седьмого.

— Пожалуйста, — говорю, — живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода в уборной? Действует?

— Да, — отвечает, — действует.

И сама кутается в байковый платок и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно.

Ну, а раз она мне и говорит:

— Что вы, — говорит, — меня все по улицам водите? Аж голова закружилась. Вы бы, — говорит, — как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, — говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, — говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?

— Не знаю, — говорит.

И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я таким гусем, таким буржуем нерезанным व्यось вокруг нее и предлагаю:

— Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, — говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня — кот заплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гульки нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крикнул. И молчу. Взяла меня такая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье.

Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет, — говорит, — мы привыкшие.

И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, — говорю, — взад!

А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, — говорю, — к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяйню:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.
— С вас,— говорит,— за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как,— говорю,— за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.

— Нету,— отвечает,— хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.

— Как,— говорю,— надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.

Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось, народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушайте,— говорю,— гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай,— говорит,— я докушаю.

И докушал, сволочь. За мой-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

1923

СТАКАН

Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.

И меня пригласила.

— Приходите,— говорит,— помянуть дорогого покойника чем бог послал. Курей и жареных утей у нас,—говорит,—не

будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно, вволю и даже можете с собой домой брать.

Я говорю:

— В чае хотя интерес не большой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно,—говорю,—добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.

— Ну,—говорит,—приходите тем более.

В четверг я и пошел.

А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает.

А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишко неважный, надо сказать,—шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону.

Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай.

Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы.

Вдова отвечает:

— Никак, батюшка, стакан тюкнули?

Я говорю:

— Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится.

А деверь нажрался арбуза и отвечает:

— То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают.

А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается.

— Это,—говорит,—чистое разорение в хозяйстве — стаканы бить. Это,—говорит,—один стакан тюкнет, другой крантик у самовара начисто оторвет, третий салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?

А деверь, паразит, отвечает:

— Об чем,—говорит,—речь. Таким,—говорит,—гостям прямо морды надо арбузом разбивать.

Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю:

— Мне,—говорю,—товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я,—говорю,—товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще,—говорю,—чай у вас шваброй пахнет. Тоже,—говорю,—приглашение. Вам,—говорю,—чертям, три стакана и одну кружку разбить — и то мало.

Тут шум, конечно, поднялся, грохот.

Деверь наиболее других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился.

И вдова тоже трясется мелко от ярости.

— У меня,— говорит,— привычки такой нету — швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Мальяр,— говорит,— Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов... Я,— говорит,— щучий сын, не оставлю вас так после этого.

Ничего я на это не ответил, только говорю:

— Тьфу на всех, и на деверя,— говорю,— тьфу.

И поскорее вышел.

Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной.

Являюсь и удивляюсь.

Нарсудья дело рассматривает и говорит:

— Нынче,— говорит,— все суды такими делами закрячены, а тут еще, не угодно ли. Платите,— говорит,— этой гражданке двугривенный и очищайте воздух в камере.

Я говорю:

— Я платить не отказываюсь, а только пушай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа.

Вдова говорит:

— Подавился этим стаканом. Бери его.

На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший.

Ничего я на это не сказал, только говорю:

— Передай,— говорю,— своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю.

Потому, действительно, когда характер мой задет,— я могу до трибунала дойти.

1925

БАНЯ

Говорят, граждане, в Америке бани отличные.

Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет — мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет.

Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:

— Гут бай, дескать, присмотри.

Только и всего.

Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают — стираное и глаженое. Портянки, небось. белее снега. Подштанники зашиты, заплатаны. Житьишко!

А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.

У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку), — дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать — некуда. Карманов нету. Кругом — живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь.

Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли.

Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпускает.

— Ты что ж это, — говорит, — чужие шайки воруюшь? Как ляпну, — говорит, — тебе шайкой между глаз — не зарадуешься.

Я говорю:

— Не царский, — говорю, — режим шайками ляпать. Эгоизм, — говорю, — какой. Надо же, — говорю, — и другим помыться. Не в театре, — говорю.

А он задом повернулся и моется.

«Не стоять же, — думаю, — над его душой. Теперича, — думаю, — он нарочно три дня будет мыться».

Пошел дальше.

Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнуллся или замечтался — не знаю. А только тую шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться — какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.

А кругом-то, батушки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся — опять грязный. Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит от стирки — мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один.

«Ну их, — думаю, — в болото. Дома домоюсь».

Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу — все мое, штаны не мои.

— Граждане, — говорю. — На моих тут дырка была. А на этих звон где.

А банщик говорит:

— Мы, — говорит, — за дырками не приставлены. Не в театре, — говорит.

Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают — номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок — нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.

Подаю банщику веревку — не хочет.

— По веревке, — говорит, — не выдаю. Это, — говорит, — каждый гражданин настрижет веревочек, — польт не напасешься. Обожди, — говорит, — когда публика разойдется, выдам, какое останется.

Я говорю:

— Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, — говорю. — Выдай, — говорю, — по приметам. Один, — говорю, — карман рваный, другого нету. Что касасемо пуговиц, то, — говорю, — верхняя есть, нижних же не придвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял.

Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл. Вернулся снова. В пальто не впускают.

— Раздевайтесь, — говорят.

Я говорю:

— Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, — говорю. — Выдайте тогда хоть стоимость мыла.

Не дают.

Не дают — не надо. Пошел без мыла.

Конечно, читатель может полюбопытствовать: какая, дескать это баня? Где она? Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенник.

1925

КРИЗИС

Давеча, граждане, воз кирпичей по улице провезли. Ей-богу!

У меня, знаете, аж сердце затрепетало от радости. Потому строимся же, граждане. Кирпич-то ведь не зря же везут. Домишко, значит, где-нибудь строится. Началось — тьфу, тьфу, не слазить!

Лет, может, через двадцать, а то и меньше, у каждого гражданина небось по цельной комнате будет. А ежели насе-

ление шибко не увеличится и, например, всем аборты разрешат — то и по две. А то и по три на рыло. С ванной.

Вот заживем-то когда, граждане! В одной комнате, скажем, спать, в другой гостей принимать, в третьей еще чего-нибудь... Мало ли! Делов-то найдется при такой свободной жизни.

Ну, а пока что трудновато насчет квадратной площади. Скуповато получается ввиду кризиса.

Я вот, братцы, в Москве жил. Недавно только оттуда вернулся. Испытал на себе этот кризис.

Приехал я, знаете, в Москву. Хожу с вещами по улицам. И то есть ни в какую. Не то что остановиться негде — вещей положить некуда.

Две недели, знаете, проходил по улицам с вещами — оброс бороденкой и вещи порастерял. Так, знаете, налегке и хожу без вещей. Подыскиваю помещение.

Наконец в одном доме какой-то человечек по лестнице спускается.

— За тридцать рублей, — говорит, — могу вас устроить в ванной комнате. Квартирка, — говорит, — барская... Три уборных... Ванна... В ванной, — говорит, — и живите себе. Окно, — говорит, — хотя и нету, но зато дверь имеется. И вода под рукой. Хотите, — говорит, — напустите полную ванну воды и ныряйте себе хоть целый день.

Я говорю:

— Я, дорогой товарищ, не рыба. Я, — говорю, — не нуждаюсь нырять. Мне бы, — говорю, — на суше пожить. Сбавьте, — говорю, — немного за мокроту.

Он говорит:

— Не могу, товарищ. Рад бы, да не могу. Не от меня целиком зависит. Квартирка коммунальная. И цена у нас на ванну выработана твердая.

— Ну, что ж, — говорю, — делать? Ладно. Рвите, — говорю, — с меня тридцать и допустите, — говорю, — скорее. Три недели, — говорю, — по панели хожу. Боюсь, — говорю, — устать.

Ну, ладно. Пустили. Стал жить.

А ванна действительно барская. Всюду, куда ни ступишь — мраморная ванна, колонка и крантики. А сесть, между прочим, негде. Разве что на бортик сядешь, и то вниз валяшься, в аккурат в мраморную ванну.

Устроил тогда настил из досок, живу.

Через месяц, между прочим, женился.

Такая, знаете, молоденькая, добродушная супруга попала. Без комнаты.

Я думал, через эту ванну она от меня откажется и не увижу я семейного счастья и уюта, но она ничего, не отказывается. Только маленько нахмурилась и отвечает:

— Что ж,—говорит,— и в ванне живут добрые люди. А в крайнем,—говорит,—случае, перегородить можно. Тут,—говорит,— к примеру, будуар, а тут столовая...

Я говорю:

— Перегородить, гражданка, можно. Да жильцы,—говорю,— дьяволы, не дозволяют. Они и то говорят: никаких переделок.

Ну, ладно. Живем как есть.

Меньше чем через год у нас с супругой небольшой ребенок рождается.

Назвали его Володькой и живем дальше. Тут же в ванне его купаем,— и живем.

И даже, знаете, довольно отлично получается. Ребенок то есть ежедневно купается и совершенно не простуживается.

Одно только неудобство — по вечерам коммунальные жильцы лезут в ванную мыться.

На это время всей семьей приходится в коридор подаваться.

Я уж и то жильцов просил:

— Граждане,—говорю,— купайтесь по субботам. Нельзя же,—говорю,— ежедневно купаться. Когда же,—говорю,— жить-то? Войдите в положение.

А их, подлецов, тридцать два человека. И все ругаются. И в случае чего морду грозят набить.

Ну, что ж делать — ничего не поделаешь. Живем как есть.

Через некоторое время мамаша супруги моей из провинции прибывает в ванну. За колонкой устраивается.

— Я,—говорит,— давно мечтала внука качать. Вы,—говорит,— не можете мне отказать в этом развлечении.

Я говорю:

— Я и не отказываю. Валяйте,—говорю,— старушка, качайте. Пес с вами. Можете,—говорю,— воды в ванную напустить — и ныряйте с внуком.

А жене говорю:

— Может, гражданка, к вам еще родственники приедут, так уж вы говорите сразу, не томите.

Она говорит:

— Разве что братишка на рождественские каникулы...

Не дождавшись братишки, я из Москвы выбыл. Деньги семье высылаю по почте.

МЕДИК

Нынче, граждане, в народных судах все больше медиков судят. Один, видите ли, операцию погаными руками произвел, другой — с носа очки обронил в кишки и найти не может, третий — ланцет потерял во внутренностях или же не то отрезал, чего следует, какой-нибудь неопытной дамочке.

Все это не по-европейски. Все это круглое невежество. И судить таких врачей надо.

Но вот за что, товарищи, судить будут медика Егорыча? Конечно, высшего образования у него нету. Но и вины особой нету.

А заболел тут один мужичок. Фамилия — Рябов, профессия — ломовой извозчик. Лет от роду — тридцать семь. Беспартийный.

Мужик хороший — слов нету. Хотя и беспартийный, но в союзе состоит и ставку по третьему разряду получает.

Ну, заболел. Слег. Подумаешь, беда какая. Пухнет, видите ли, у него живот и дышать трудно. Ну, потерпи! Ну, бутылку с горячей водой приложил к брюху — так нет. Испугался очень. Задрожал. И велит бабе своей, не жалеючи никаких денег, пригласить наилучшего знаменитого врача. А баба что? Баба всплакнула насчет денег, но спорить с больным не стала. Пригласила врача.

Является этакий долговязый медик с высшим образованием. Фамилия Ворсбейчик. Беспартийный.

Ну, осмотрел он живот. Пощупал чего следует и говорит: — Ерунда, — говорит. — Зря, — говорит, — знаменитых врачей понапрасну беспокоите. Маленько объелся мужик через меру. Пущай, — говорит, — клистир ставит и курей кушает.

Сказал и ушел. Счастливо оставаться.

А мужик загрустил.

«Эх, — думает, — так его за ногу! Какие дамские рецепты ставит. Отец, — думает, — мой не знал легкие средства, и я знать не желаю. А курей пущай кушает международная буржуазия».

И вот погрустил мужик до вечера. А вечером велит бабе своей, не жалея никаких денег, пригласить знаменитого Егорыча с Малой Охты.

Баба, конечно, взгрустнула насчет денег, но спорить с больным не стала — поехала. Приглашает.

Тот, конечно, покобенился.

— Чего, — говорит, — я после знаменитых медиков туда и обратно ездить буду? Я человек без высшего образования, писать знаю плохо. Чего мне взад-вперед ездить?

Ну, покобенился, выговорил себе всякие льготы: сколько хлебом и сколько деньгами — и поехал.

Приехал. Здравствуйтесь.

Щупать руками желудок не стал.

— Наружный, — говорит, — желудок тут ни при чем. Все, — говорит, — дело во внутреннем. А внутренний щупай — болезнь от того не ослабнет. Только разбередить можно.

Расспросил он только, что первый медик прописал и какие рецепты поставил, горько про себя усмехнулся и велит больному писать записку — дескать, я здоров, и папаша покойный здоров, во имя отца и святого духа.

И эту записку велит проглотить.

Выслушал мужик, намотал на ус.

«Ох, — думает, — так его за ногу! Ученье свет — неученье тьма. Говорило государство: учись — не учился. А как бы пригодилась теперь наука».

Покачал мужик бороденкой и говорит через зубы:

— Нету, — говорит, — не могу писать. Не обучен. Знаю только фамилии подписывать. Может, хватит.

— Нету, — отвечает Егорыч, нахмурившись и теребя усишки. — Нету. Одно фамилии не хватит. Фамилии, — говорит, — подписывать от грыжи хорошо, а от внутренней полная записка нужна.

— Чего же, — спрашивает мужик, — делать? Может, вы за меня напишете, потрудитесь?

— Я бы, — говорит Егорыч, — написал, да, — говорит, — очки на рояли забыл. Пущай кто-нибудь из родных и знакомых пишет.

Ладно. Позвали дворника Андрона.

А дворник даром что беспартийный, а спец: писать и подписывать может.

Пришел Андрон. Выговорил себе цену, попросил карандаш, сам сбежал за бумагой и стал писать.

Час или два писал, вспотел, но написал:

«Я здоров, и папаша покойный здоров, во имя отца и святого духа».

Дворник дома № 6

Андрон».

Написал. Подал мужику. Мужик глотал, глотал — проглотил.

А Егорыч тем временем попрощался со всеми любезно и отбыл, заявив, что за исход он не ручается: не сам больной писал.

А мужик повеселел, покушал даже, но к ночи все-таки помер.

А перед смертью рвало его сильно, и в животе резало. Ну, помер: рой землю, покупай гроб,— так нет. Пожалела баба денег, пошла в союз жаловаться: дескать, нельзя ли с Егорыча деньги вернуть.

Денег с Егорыча не вернули — не таковский, но дело всплыло.

Разрезали мужика. И бумажку нашли. Развернули, прочитали, ахнули: дескать, подпись не та, дескать, подпись Андронова — и дело в суд. И суду доложили: подпись не та, бумажка обойная и размером для желудка велика — разбирайтесь!

А Егорыч заявил на следствии. «Я, братцы, ни при чем, не я писал, не я глотал и не я бумажку доставал. А что дворник Андрон подпись свою поставил, а не больного — недосмотрел я. Судите меня за недосмотр».

А Андрон доложил: «Я,— говорит,— два часа писал и запарился. И, запарившись, свою фамилию написал. Я,— говорит,— и есть убийца. Прошу снисхождения».

Теперь Егорыча с Андроном судить будут. Неужели же заведут?

1926

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

У моих знакомых, у Гусевых, немец из Берлина жил.

Комнату снимал. Почти два месяца прожил.

И не какой-нибудь там чухонец или другое национальное меньшинство, а настоящий германец из Берлина. По-русски ни в зуб ногой. С хозяевами изъяснялся руками и головой.

Одевался, конечно, этот немец ослепительно. Белье чистое. Штаны ровные. Ничего лишнего. Ну, прямо гравюра.

А когда уезжал этот немец, то много чего оставил хозяевам. Цельный ворох заграничного добра. Разные пузырьки, воротнички, коробочки. Кроме того, почти две пары кальсон. И свитер почти не рваный. А мелочей разных и не счесть — и для мужского и для дамского обихода.

Все это в кучу было свалено в углу, у рукомытника.

Хозяйка, мадам Гусева, дама честная, ничего про нее такого не скажешь, намекнула немчику перед самым отъездом, — дескать, битте-дритте, не впопыхах ли изволили заграничную продукцию оставить.

Немчик головой лягнул, дескать, битте-дритте, пожалуйста, заберите, об чем разговор, жалко, что ли.

Тут хозяева налегли на оставленную продукцию. Сам Гусев даже подробный список вещам составил. И уж, конечно дело, сразу свитер на себя напялил и кальсоны взял.

После две недели ходил с кальсонами в руках. Всем показывал, невозможно как гордился и хвалил немецкое качество.

А вещи действительно были хотя и ношенные и, вообще, говоря, чуть держались, однако, слов нет, — настоящий заграничный товар, глядеть приятно.

Между прочим, среди оставленных вещей была такая фляга не фляга, но вообще такая довольно плоская банка с порошком. Порошок вообще розовый, мелкий. И душок довольно симпатичный — не то лориган, не то роза.

После первых дней радости и ликования начали Гусевы гадать, что за порошок. Нюхали, и зубами жевали, и на огонь сыпали, но угадать не могли.

Носили по всему дому, показывали вузовцам и разной интеллигенции, но толку не добились.

Многие говорили, будто это пудра, а некоторые заявляли, будто это мелкий немецкий тальк для подсыпки только что родившихся немецких ребят.

Гусев говорит:

— Мелкий немецкий тальк мне ни к чему. Только что родившихся ребят у меня нету. Пущай это будет пудра. Пущай я буду после каждого бритья морду себе подсыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни.

Начал он бриться и пудриться. После каждого бритья ходит розовый, цветущий и прямо благоухает.

Кругом, конечно, зависть и вопросы.

Тут Гусев действительно поддержал немецкое производство. Много и горячо нахваливал немецкий товар.

— Сколько, — говорит, — лет уродовал свою личность разными русскими отбросами и вот, наконец, дождался. И когда, говорит, эта пудра кончится, то прямо и не знаю, как быть. Придется выписать еще баночку. Очень уж чудный товар. Прямо душой отдыхаю.

Через месяц, когда пудра подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку.

Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох.

Конечно, другой, менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством. И даже, может быть, у менее жизнерадостного человека рожа покрылась бы прыщами и угрями от излишней мнительности. Но не таков был Гусев.

— Вот это я понимаю,— сказал он.— Вот это качество продукции! Вот это достижение. Это действительно не переплюнешь — товар. Хочешь морду пудри, хочешь блох посыпай! На все годится. А у нас что?

Тут Гусев, похвалив еще раз немецкое производство, сказал:

— То-то я гляжу: что такое? Целый месяц пудрюсь, и хоть бы одна блоха меня укусила. Жену, мадам Гусеву, кусают. Сыновья тоже целные дни отчаянно чешутся. Собака Нинка тоже скребется. А я, знаете, хожу и хоть бы что. Даром что насекомые, но чувствуют, шельмы, настоящую продукцию. Вот это действительно...

Сейчас порошок у Гусева кончился. Должно быть, снова его кусают блохи.

1927

ОПЕРАЦИЯ

Эта маленькая грустная история произошла с товарищем Петюшкой Ящиковым. Хотя, как сказать — маленькая! Человека чуть не зарезали. На операции.

Оно, конечно, до этого далеко было. Прямо очень даже далеко. Да и не такой этот Петька, чтобы мог допустить себя свободно зарезать. Прямо скажем: не такой это человек. Но история все-таки произошла с ним грустная.

Хотя, говоря по совести, ничего такого грустного не произошло. Просто не рассчитал человек. Не сообразил. Опять же на операцию в первый раз явился. Без привычки.

А началась у Петюшки пшенная болезнь. Верхнее веко у него на правом глазу начало раздувать. И за три года раздуло прямо в чернильницу.

Смотался Петя Ящиков в клинику. Докторша ему попалась молодая, интересная особа.

Докторша эта ему говорила:

— Как хотите. Хотите — можно резать. Хотите — находитесь так. Эта болезнь не смертельная. И некоторые мужчины, не считаясь с общепринятой наружностью, вполне привыкают видеть перед собой эту опухоль.

Однако красоты ради Петюшка решил на операцию.

Тогда велела ему докторша прийти завтра.

Назавтра Петюшка Ящиков хотел было заскочить на операцию сразу после работы. Но после думает:

«Дело это хотя глазное и наружное, и операция, так сказать, не внутренняя, но пес их знает — как бы не приказали

костюм раздеть. Медицина — дело темное. Не заскочить ли в самом деле домой — переснять нижнюю рубаху?»

Побежал Петюшка домой.

Главное, что докторша молодая. Охота была Петюшке пыль в глаза ей пустить, — дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато будьте любезны, рубашечка — чистый мадеполам.

Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть.

Заскочил домой. Надел чистую рубаху. Шею бензином вытер. Ручки под краном сполоснул. Усики кверху растопырил. И покотился.

Докторша говорит:

— Вот это операционный стол. Вот это ланцет. Вот это ваша пшениная болячка. Сейчас я вам все это сделаю. Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол.

Петюшка слегка даже растерялся.

«То есть, — думает, — прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное происшествие. Ой-ей, — думает, — носочки-то у меня неинтересные, если не сказать хуже».

Начал Петюшка Ящиков все-таки свою китель сдирать, чтоб, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки.

Докторша говорит:

— Китель оставьте трогать. Не в гостинице. Снимите только сапоги.

Начал Петюшка хвататься за сапоги, за свои джимми. После говорит:

— Прямо, — говорит, — товарищ докторша, не знал, что с ногами ложиться. Болезнь глазная, верхняя — не предполагал. Прямо, — говорит, — товарищ докторша, рубашку переменял, а другое, извиняюсь, не трогал. Вы, — говорит, — на них не обращайтесь внимания во время операции.

Докторша, утомленная высшим образованием, говорит:

— Ну, валяй скорей. Время дорого.

А сама сквозь зубы хохочет.

Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задышается. Аж рука дрожит.

А могла бы зарезать со своей дрожащей ручкой!

Разве можно так человеческую жизнь подвергать опасности?

Но, между прочим, операция закончилась прекрасно. И глаз у Петюшки теперь не имеет опухолю.

Да и носочки, наверно, он носит теперь более аккуратные. С чем и поздравляем его, ежели это так.

ВОЛОКИТА

Недавно один уважаемый товарищ, Кульков Федор Алексеевич, изобрел способ против бюрократизма. Вот государственная башка-то!

А способ до того действительный, до того дешевый, что надо бы за границей патент взять, да, к глубокому сожалению, Федор Алексеевич Кульков не может сейчас за границу выехать — сидит, сердечный друг, за свой опыт. Нет пророка в отечестве своем.

А против бюрократизма Федор Кульков такой острый способ придумал.

Кульков, видите ли, в одну многоуважаемую канцелярию ходил очень часто. По одному своему делу. И не то он месяц ходил, не то два. Ежедневно. И все никаких результатов. То есть не обращают на него внимания бюрократы, хоть плачь. Не отыскивают ему его дело. То в разные этажи посылают. То «завтраками» кормят. То просто в ответ грубо сморкаются.

Конечно, ихнее дело тоже хамское. К ним, бюрократам, тоже на день, может, по сто человек с глупыми вопросами лезет. Тут поневоле нервная грубость образуется.

А только Кульков не мог входить в эти интимные подробности и ждать больше.

Он думает:

«Ежели сегодня дела не окончу, то определенно худо. Затаaskaют еще свыше месяца. Сейчас,—думает,—возьму когонибудь из канцелярского персонала и смажу слегка по морде. Может, после этого факта обратят на меня благосклонное внимание и дадут делу ход».

Заходит Федор Кульков на всякий случай в самый нижний, подвальный этаж,— мол, если кидать из окна будут, чтоб не шибко разбиться. Ходит по комнатам.

И вдруг видит такую возмутительную сцену. Сидит у стола на венском стуле какой-то средних лет бюрократ. Воротничок чистый. Галстук. Манжетки. Сидит и абсолютно ничего не делает. Больше того, сидит, развалившись на стуле, губами немножко свистит и ногой мотаает.

Это последнее просто вывело из себя Федора Кулькова.

«Так,—думает,—государственный аппарат, кругом портреты висят, книги лежат, столы стоят, и тут наряду с этим мотание ногой и свист — форменное оскорбление!»

Федор Кульков очень долго глядел на бюрократа — возбудался. После подошел, развернулся и дал, конечно, слегка наотмашь в морду.

Свалился, конечно, бюрократ со своего венского стула. И ногой перестал мотать. Только орет остро.

Тут бюрократы, ясное дело, сбежались со всех сторон — держать Кулькова, чтоб не ушел.

Битый говорит:

— Я, — говорит, — по делу пришедши, с утра сижу. А ежели еще натошак меня по морде хлопать начнут в государственном аппарате, то, покорнейше благодарю, не надо, обойдемся без этих фактов.

Федор Кульков то есть до чрезвычайности удивился.

— Я, — говорит, — прямо, товарищи, не знал, что это посетитель пришедши, я думал, просто бюрократ сидит. Я бы его не стал стегать.

Начальники орут:

— Отыскать, туды-сюды, кульковское дело!

Битый говорит:

— Позвольте, пушай тогда и на меня обратят внимание. Почему же такая привилегия бьющему? Пушай и мое дело разыщут. Фамилия Обрезкин.

— Отыскать, туды-сюды, и обрезкино дело!

Побитый, конечно, отчаянно благодарит Кулькова, ручки ему жмет.

— Морда, — говорит, — дело наживное, а тут по гроб жизни вам благодарен за содействие против волокиты.

Тут быстрым темпом составляют протокол, и в это время кульковское дело приносят. Приносят его дело, станоят на нем резолюцию и дают совершенно законный ход.

Битому же отвечают:

— Вы, — говорят, — молодой человек, скорей всего ошиблись учреждением. Вам, — говорят, — скорей всего в собес нужно, а вы, — говорят, — вон куда пришедши.

Битый говорит:

— Позвольте же, товарищи! За что же меня, в крайнем случае, тогда по морде били? Пушай хоть справку дадут: мол, такого-то числа действительно товарищу Обрезкину набили морду.

Справку Обрезкину отказали дать, и тогда, конечно, он полез к Федору Кулькову драться. Однако его вывели, и на этом дело заглохло.

Самого же Кулькова посадили на две недели, но зато дело его благоприятно и быстро кончилось без всякой волокиты.

ПРЕЛЕСТИ КУЛЬТУРЫ

Я всегда симпатизировал центральным убеждениям.

Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней.

Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.

И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться — сиди в чем пришел. Это было достижение.

А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается — красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком.

Товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить — не помню.

Встречают и уговаривают:

— Горло, — говорят, — Василий Митрофанович, от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль — «Грелка».

И, одним словом, уговорили меня пойти в театр — провести культурно вечер.

Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться. — Польша, — говорят, — сымайте.

Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польта. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. «Прямо, — думаю, — срамота может произойти». Главное — рубаха нельзя сказать что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. «Срамота, — думаю, — с такой крупной пуговицей в фойе идти».

Я говорю своим:

— Прямо, — говорю, — товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто сымать. Все-таки подтяжки там и сорочка опять же грубая.

Товарищ Локтев говорит:

— Ну, покажись.

Расстегнулся я. Показываюсь.

— Да,— говорит,— действительно, видик...

Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит:

— Я,— говорит,— лучше домой пойду. Я,— говорит,— не могу, чтоб кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы,— говорит,— еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольно,— говорит,— вам неловко в таком отвлеченном виде в театры ходить.

Я говорю:

— Я не знал, что я в театры иду,— дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу — что тогда?

Стали мы думать, что делать. Локтев, собака, говорит:

— Вот чего. Я,— говорит,— Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко.

Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя.

— Ой,— говорит,— мать честная, я,— говорит,— сам сегодня не при жилетке. Я,— говорит,— тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней. Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко.

Дама говорит:

— Лучше,— говорит,— я, ей-богу, домой пойду. Мне,— говорит,— дома как-то спокойней. А то,— говорит,— один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук вместо пиджака. Пуцай,— говорит,— Василий Митрофанович в пальто попросит пойти.

Просим и умоляем — показываем союзные книжки — не пуцают.

— Это,— говорят,— не девятнадцатый год — в пальто сидеть.

— Ну,— говорю,— ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти.

Но как подумаю, что деньги заплачены, не могу идти — ноги не идут к выходу.

Локтев, собака, говорит:

— Вот чего. Ты,— говорит,— подтяжки отстегни,— пуцай их дама понесет вместо сумочки. А сам валяй как есть: будто у тебя это летняя рубашка «апаш» и тебе, одним словом, в ней все время жарко.

Дама говорит:

— Я подтяжки не понесу, как хотите. Я,— говорит,— не для того в театры хожу, чтоб мужские предметы в руках носить. Пуцай Василий Митрофанович сам несет или в карман себе сунет.

Раздеваю пальто. Стою в рубашке, как сукин сын.

А холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю. А кругом публика смотрит.

Дама отвечает:

— Скорей вы, подлец этакий, отстегивайте помочи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду. А мне скоро тоже не отстегнуть. Мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются — сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю.

После приводим себя в порядок и садимся на места.

Первый акт проходит хорошо. Только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался.

Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию. Объясняют насчет меня.

— Дамам, — говорят, — противно на ночные рубашки глядеть. Это, — говорят, — их шокирует. Кроме того, — говорят, — он все время вертится, как сукин сын.

Я говорю:

— Я верчусь от холода. Посидите-ка в одной рубахе. А я, — говорю, — братцы, и сам не рад. Что же сделать?

Волокут меня, конечно, в контору. Записывают все как есть.

После отпускают.

— А теперь, — говорят, — придется вам трешку по суду отдать.

Вот гадость-то! Прямо не угадаешь, откуда неприятности.

1928

КОШКА И ЛЮДИ

Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через нее. А чертов жакт починку производить отказывается. Экономит. Для очередной растраты.

Давеча осматривали эту мою печку. Вьюшки глядели. Нырляли туда вовнутрь головой.

— Нету, — говорят. — Жить можно.

— Товарищи, — говорю, — довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы завсегда угораем через вашу печку. Давеча кошка даже угорела. Ее тошнило давеча у ведра. А вы говорите — жить можно.

Председатель жакта говорит:

— Тогда, — говорит, — устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежли мы сейчас после топки угорим —

ваше счастье — переложим. Ежли не угорим — извиняемся за отопление.

Затопили мы печку. Расположились вокруг ее.

Сидим. Нюхаем.

Так, у вьюшки, сел председатель, так — секретарь Грибодов, а так, на моей кровати — казначей.

Вскоре стал, конечно, угар по комнате проноситься.

Председатель понюхал и говорит:

— Нету. Не ощущается. Идет теплый дух, и только.

Казначей, жаба, говорит:

— Вполне отличная атмосфера. И нюхать ее можно. Голова через это не ослабевает. У меня, — говорит, — в квартире атмосфера хуже воняет, и я, — говорит, — не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный.

Я говорю:

— Да как же, помилуйте, — ровный. Эвон как газ струится.

Председатель говорит:

— Позовите кошку. Ежели кошка будет смирно сидеть, значит, ни хрена нету. Животное завсегда в этом бескорыстно. Это не человек. На нее можно положиться.

Приходит кошка, Садится на кровать. Сидит тихо. И, ясное дело, тихо — она несколько привыкшая.

— Нету, — говорит председатель, — извиняемся.

Вдруг казначей покачнулся на кровати и говорит:

— Мне надо, знаете, спешно идти по делу.

И сам подходит до окна и в щелку дышит.

И сам стоит зеленый и прямо на ногах качается.

Председатель говорит:

— Сейчас все пойдем.

Я оттянул его от окна.

— Так, — говорю, — нельзя экспертизу строить.

Он говорит:

— Пожалуйста. Могу отойти. Мне ваш воздух вполне полезный. Натуральный воздух, годный для здоровья. Ремонта я вам не могу делать. Печка нормальная.

А через полчаса, когда этого самого председателя ложили на носилки и затем задвигали носилки в каретку «Скорой помощи», я опять с ним разговорился:

Я говорю:

— Ну, как?

— Да нет, — говорит, — не будет ремонта. Жить можно. Так и не починили.

Ну что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха — ко всему может привыкнуть.

СЛАБАЯ ТАРА

Нынче взятки не берут. Это раньше шагу нельзя было шагнуть без того, чтобы не дать или не взять.

А нынче характер у людей сильно изменился к лучшему. Взятки, действительно, не берут.

Давеча мы отправляли с товарной станции груз.

У нас тетка от гриппа померла и в духовном завещании велела отправить ейные там простыни и прочие мешанские вещицы в провинцию, к родственникам со стороны жены.

Вот стоим мы на вокзале и видим такую картину, в духе Рафаэля.

Будка для приема груза. Очередь, конечно. Десятичные метрические весы. Весовщик за ними. Весовщик, такой в высшей степени благородный служащий, быстро говорит цифры, записывает, прикладывает гирьки, клеит ярлыки и дает разъяснения.

Только и слышен его симпатичный голос:

— Сорок. Сто двадцать. Пятьдесят. Сымайте. Берите. Отойдите... Не станови сюда, балда, станови на эту сторону.

Такая приятная картина труда и быстрых темпов.

Только вдруг мы замечаем, что при всей красоте работы весовщик очень уж требовательный законник. Очень уж он соблюдает интересы граждан и государства. Ну, не каждому, но через два-три человека он обязательно отказывает груз принимать. Чуть расхлябанная тара — он ее не берет. Хотя, видать, что сочувствует.

Которые с расхлябанной тарой, те, конечно, охают, ахают и страдают.

Весовщик говорит:

— Вместо страданий укрепите вашу тару. Тут где-то шляется человек с гвоздями. Пущай он вам укрепит. Пущай сюда пару гвоздей вобьет и пущай проволокой подтянет. И тогда подходите без очереди, я приму.

Действительно верно: стоит человек за будкой. В руках у него гвозди и молоток. Он работает в поте лица и укрепляет желеющим слабую тару. И которым отказали, те смотрят на него с мольбой и предлагают ему свою дружбу и деньги за это самое.

Но вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках. Он не интеллигент, но близорукий. У него, видать, трахота на глазах. Вот он и надел очки, чтоб его было хуже видать. А может быть, он служит на оптическом заводе, и там даром раздают очки.

Вот он ставит свои шесть ящичков на метрические десятичные весы.

Весовщик осматривает его шесть ящичков и говорит:

— Слабая тара. Не пойдет. Сымай обратно.

Который в очках, услышав эти слова, совершенно упадет духом. А перед тем, как упасть духом, до того набрасывается на весовщика, что дело почти доходит до зубочистки. Который в очках кричит:

— Да что ты, собака, со мной делаешь! Я, — говорит, — не свои ящики отправляю. Я, — говорит, — отправляю государственные ящики с оптического завода. Куда я теперь с ящиками сунусь? Где я найду подводу? Откуда я возьму сто рублей, чтоб везти назад? Отвечай, собака, или я из тебя котлетку сделаю! Весовщик говорит:

— А я почему знаю? — И при этом делает рукой в сторону.

Тот по близорукости своего зрения и по причине запотевших стекол принимает этот жест за что-то другое. Он вспыхивает, чего-то вспоминает, давно позабытое, роется в своих карманах и выгребает оттуда рублей восемь денег, все рублями. И хочет их подать весовщику.

Тогда весовщик багровеет от этого зрелища денег.

Он кричит:

— Это как понимать? Не хочешь ли ты мне, очкастая кобыла, взятку дать?!

Который в очках сразу, конечно, понимает весь позор своего положения.

— Нет, — говорит, — я деньги вынул просто так. Хотел, чтобы вы их подержали, покуда я сыму ящики с весов.

Он совершенно теряется, несет сущий вздор, принимается извиняться и даже, видать, согласен, чтобы его ударили по морде.

Весовщик говорит:

— Стыдно. Здесь взятки не берут. Сымайте свои шесть ящиков с весов, они мне буквально холодят душу. Но, поскольку это государственные ящики, обратитесь вот до того рабочего, он вам укрепит слабую тару. А что касается денег, то благодарите судьбу, что у меня мало времени вожжаться с вами.

Тем не менее он зовет еще одного служащего и говорит ему голосом, только что перенесшим оскорбление:

— Знаете, сейчас мне хотели взятку дать. Понимаете, какой абсурд. Я жалею, что поторопился и для виду не взял деньги, а то теперь трудно доказывать.

Другой служащий отвечает:

— Да, это жалко. Надо было развернуть историю. Пуцай не могут думать, что у нас по-прежнему рыльце в пуху.

Который в очках, совершенно сопревший, возится со своими ящиками. Их ему укрепляют, приводят в христианский вид и снова волокут на весы.

Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара.

И, покуда до меня не дошла очередь, я подхожу к рабочему и прошу его на всякий случай укрепить мою сомнительную тару. Он спрашивает с меня восемь рублей.

Я говорю:

— Что вы, говорю, обалдели, восемь рублей брать за три гвоздя.

Он мне говорит интимным голосом:

— Это верно, я бы вам и за тройк сделал, но, — говорит, — войдите в мое пиковое положение, мне же надо делиться вот с этим крокодиллом.

Тут я начинаю понимать всю механику.

— Стало быть, — я говорю, — вы делитесь с весовщиком?

Тут он несколько смущается, что проговорился, несет разный вздор и небылицы, бормочет о мелком жалованьишке, о дороговизне, делает мне крупную скидку и приступает к работе.

Вот приходит моя очередь.

Я становлю свой ящик на весы и любуюсь крепкой тарой. Весовщик говорит:

— Тара слабовата. Не пойдет.

Я говорю:

— Разве? Мне сейчас только ее укрепляли. Вот тот, с клещами, укреплял.

Весовщик отвечает:

— Ах, пардон, пардон. Извиняюсь. Сейчас ваша тара крепкая, но она была слабой. Мне это завсегда в глаза бросается. Что пардон, то пардон.

Принимает он мой ящик и пишет накладную.

Я читаю накладную, а там сказано: «Тара слабая».

— Да что ж вы, — говорю, — делаете, арапы? Мне же, — говорю, — с такой надписью обязательно весь ящик в пути разворуют. И надпись не позволит требовать убытки. Теперь, — говорю, — я вижу ваши арапские комбинации.

Весовщик говорит:

— Что пардон, то пардон, извиняюсь.

Он вычеркивает надпись, и я уйду домой, рассуждая по дороге о сложной душевной организации своих сограждан, о перестройке характеров, о хитрости и о той неохоте, с какой мои уважаемые сограждане сдают свои насиженные позиции.

Что пардон, то пардон.

БЕСПОКОЙНЫЙ СТАРИЧОК

У нас в Ленинграде один старичок заснул летаргическим сном.

Год назад он, знаете, захворал куриной слепотой. Но потом поправился. И даже выходил на кухню ругаться с жильцами по культурным вопросам.

А недавно он взял и неожиданно заснул.

Вот он ночью заснул летаргическим сном. Утром просыпается и видит, что с ним чего-то такое неладное. То есть, вернее, родственники его видят, что лежит бездыханное тело и никаких признаков жизни не дает. И пульс у него не бьется, и грудка не вздымается, и пар от дыхания не садится на зеркальце, если это последнее приподнести к роту.

Тут, конечно, все соображают, что старичок тихо себе скончался, и, конечно, поскорей делают разные распоряжения.

Они торопливо делают распоряжения, поскольку они всей семьей живут в одной небольшой комнате. И кругом — коммунальная квартира. И старичка даже поставить, извините, некуда, — до того тесно. Тут поневоле начнешь торопиться.

А надо сказать, что этот заснувший старикан жил со своими родственниками. Значит, муж, жена, ребенок и няня. И вдобавок он, так сказать, отец, или, проще сказать, папа его жены, то есть ее папа. Бывший трудящийся. Все, как полагается. На пенсии.

И нянька — девчонка шестнадцати лет, принятая на службу на подмогу этой семье, поскольку оба-два — муж и жена, то есть дочка ее папы, или проще сказать, отца, — служат на производстве.

Вот они служат и, значит, под утро видят такое грустное недоразумение — папа скончался.

Ну, конечно, огорчение, расстройство чувств: поскольку небольшая комнатка и тут же лишний элемент.

Вот этот лишний элемент лежит теперь в комнате, лежит этакий чистенький, миленький старичок, интересный старичок, не могущий думать о квартирных делах, уплотнениях и дразгах. Он лежит свеженький, как увядшая незабудка, как скушанное крымское яблочко.

Он лежит и ничего не знает, и ничего не хочет, и только требует до себя последнего внимания.

Он требует, чтоб его поскорей во что-нибудь одели, отдали бы последнее «прости» и поскорей бы где-нибудь захоронили.

Он требует, чтоб это было поскорей, поскольку все-таки одна небольшая комната и вообще стеснение. И поскольку ребенок вякает. И нянька пугается жить в одной комнате с умер-

шими людьми. Ну, глупая девчонка, которой охота все время жить, и она думает, что жизнь бесконечна. Она пугается видеть трупы. Она — дура.

Муж, этот глава семьи, бежит тогда поскорей в районное бюро похоронных процессий. И вскоре оттуда возвращается.

— Ну, — говорит, — все в порядке. Только маленько с лошадьми зацепка. Колесницу, — говорит, — хоть сейчас дают, а лошадей раньше, как через четыре дня, не обещают.

Жена говорит:

— Я так и знала. Ты, — говорит, — с моим отцом завсегда при жизни царापался и теперь не можешь ему сделать одолжения — не можешь ему лошадь достать.

Муж говорит:

— А идите к черту! Я не верховой, я лошадьми не завую. Я, — говорит, — и сам не рад дожидаться столько времени. Очень, — говорит, — мне глубокий интерес все время твоего папу видеть.

Тут происходят разные семейные сцены. Ребенок, не привыкший видеть неживых людей, пугается и орет благим матом.

И нянька отказывается служить этой семье, в комнате которой живет покойник.

Но ее уговаривают не бросать профессию и обещают ей поскорей ликвидировать смерть.

Тогда сама мадам, уставшая от этих делов, поспешает в бюро, но вскоре возвращается оттуда бледная как полотно.

— Лошадей, — говорит, — обещают через неделю. Если б мой муж, этот дурак, оставшийся в живых, записался, когда ходил, тогда через три дня. А сейчас мы уже шестнадцатые на очереди. А коляску, — говорит, — действительно, хоть сейчас дают.

И сама одевает поскорей своего ребенка, берет орущую няньку и в таком виде едет в Сестрорецк — пожить у своих знакомых.

— Мне, — говорит, — ребенок дороже. Я не могу ему с детских лет показывать такие туманные картины. А ты как хочешь, так и делай.

Муж говорит:

— Я, — говорит, — тоже с ним не останусь. Как хотите. Это не мой старик. Я, — говорит, — его при жизни не особенно долюблял, а сейчас, — говорит, — мне в особенности противно с ним вместе жить. Или, — говорит, — я его в коридор поставлю, или я к своему брату перееду. А он пушай тут дожидается лошадей!

Вот семья уезжает в Сестрорецк, а муж, этот глава семьи, бежит к своему брату.

Но у брата в это время всей семьей происходит дифтерит, и его нипочем не хотят пускать в комнату.

Вот тогда он вернулся назад, положил заснувшего старичка на узкий ломберный столик и поставил это сооружение в коридор около ванной. И сам закрылся в своей комнате и ни на какие стуки и выкрики не отвечал в течение двух дней.

Тут происходит в коммунальной квартире сплошная ерунда, волынка и неразбериха.

Жильцы поднимают шум и вой.

Женщины и дети перестают ходить куда бы ни было, говорят, что они не могут проходить без того, чтобы не испугаться.

Тогда мужчины нарасхват берут это сооружение и переставляют его в переднюю, что вызывает панику и замешательство у входящих в квартиру.

Заведующий кооперативом, живущий в угловой комнате, заявил, что к нему почему-то часто ходят знакомые женщины и он не может рисковать ихним нервным здоровьем.

Спешно вызвали домоуправление, которое никакой рационализации не внесло в это дело.

Было сделано предложение поставить это сооружение во двор.

Но управдом решительно заявил:

— Это, — говорит, — может вызвать нездоровое замешательство среди жильцов, оставшихся в живых, и, главное, незнос квартирной платы, которая и без того задерживается, как правило, по полгода.

Тогда стали раздаваться крики и угрозы по адресу владельца старичка, который закрылся в своей комнате и сжигал теперь разные стариковские ошметки и оставшееся ерундовое имущество.

Решено было силой открыть дверь и водворить это сооружение в комнату.

Стали кричать и двигать стол, после чего покойник тихонько вздохнул и начал шевелиться.

После небольшой паники и замешательства жильцы освоились с новой ситуацией.

Они с новой силой ринулись к комнате. Они начали стучать в дверь и кричать, что старик жив и просится в комнату.

Однако запершийся долгое время не отвечал. И только через час сказал:

— Бросьте свои арапские штучки. Знаю, вы меня на плешь хотите поймать.

После долгих переговоров владелец старика попросил, чтобы этот последний подал свой голос.

Старик, не отличавшийся фантазией, сказал тонким голосом:
— Хо-хо...

Этот поданный голос запершийся все равно не признал за настоящий.

Наконец, он стал глядеть в замочную скважину, предварительно попросив поставить старика напротив.

Поставленного старика он долгое время не хотел признать за живого, говоря, что жильцы нарочно шевелят ему руки и ноги.

Старик, выведенный из себя, начал буйнить и беспощадно ругаться, как бывало при жизни, после чего дверь открылась, и старик был торжественно водворен в комнату.

Побранившись со своим родственником о том о сем, оживший старик вдруг заметил, что имущество его исчезло и частично глеет в печке. И нету раскидной кровати, на которой он только что изволил помереть.

Тогда старик по собственному почину со всем нахальством, присущим этому возрасту, лег на общую кровать и велел подать ему кушать. Он стал кушать и пить молоко, говоря, что он не посмотрит, что его это родственники, а подаст на них в суд за расхищение имущества.

Вскоре прибыла из Сестрорецка его жена, то есть его дочь, этого умершего папы.

Были крики радости и испуга. Молодой ребенок, не вдававшийся в подробности биологии, довольно терпимо отнесся к воскрешению. Но нянька, эта шестнадцатилетняя дура, вновь стала проявлять признаки нежелания служить этой семье, у которой то и дело то умирают, то вновь воскресают люди.

На девятый день приехала белая колесница с факелами, запряженная в одну черную лошадь с наглазниками.

Муж, этот глава семьи, нервно глядевший в окно, первый увидел это прибытие.

Он говорит:

— Вот, папаня, наконец, за вами приехали лошади.

Старик начал плевать и говорить, что он больше никуда не поедет.

Он открыл форточку и начал плевать на улицу, крича слабым голосом, чтоб кучер уезжал поскорей и не мозолил бы глаза живым людям.

Кучер в белом сюртуке и в желтом цилиндре, не дождавшись выноса, поднялся наверх и начал грубо ругаться, требуя, чтоб ему, наконец, дали то, за чем он приехал, и не заставляли бы его дожидаться на сырой улице.

Он говорит:

— Я не понимаю низкий уровень живущих в этом доме. Всем известно, что лошади остродефицитные. И зря вызывать их — этим можно окончательно расстроить и погубить транспорт. Нет, — говорит, — я в этот дом больше не езду.

Собравшиеся жильцы совместно с ожившим старичком выпихнули кучера на площадку и ссыпали его с лестницы вместе с сюртуком и цилиндром.

Кучер долго не хотел отъезжать от дома, требуя, чтоб ему в крайнем случае подписали какую-то путевку.

Оживший старик плевался в форточку и кулаком грозил кучеру, с которым у них завязалась острая перебранка.

Наконец кучер, охрипнув от крика, утомленный и побитый, уехал, после чего жизнь потекла своим чередом.

На четырнадцатый день старичок, простудившись у раскрытой форточки, захворал и вскоре по-настоящему помер.

Сначала никто этому не поверил, думая, что старик по-прежнему валяет дурака, но вызванный врач успокоил всех, говоря, что на этот раз все без обмана.

Тут произошла совершенная паника и замешательство среди живущих в коммунальной квартире.

Многие жильцы, замкнув свои комнаты, временно выехали кто куда.

Жена, то есть, проще сказать, дочка ее папы, пугаясь заходить в бюро, снова уехала в Сестрорецк с ребенком и ревущей нянькой.

Муж, этот глава семьи, хотел было устроиться в дом отдыха, но на этот раз колесница неожиданно прибыла на второй день.

В общем, тут была, как оказалось, некоторая нечеткость работы с колесницами, временное затруднение, а не постоянное запаздывание.

И теперь, говорят, они исправили все свои похоронные недочеты и подают так, что прямо — красота. Лучше не надо.

1933

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Иду я раз однажды по улице и вдруг замечаю, что на меня женщины не смотрят.

Бывало, раньше выйдешь на улицу этаким, как говорится, кандидобером, а на тебя смотрят, посылают воздушные взгляды, сочувственные улыбки, смешки и ужимки.

А тут вдруг вижу — ничего подобного!

Вот это, думаю, жалко! Все-таки, думаю, женщина играет некоторую роль в личной жизни.

Один буржуазный экономист или, кажется, химик высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, а все, что мы ни делаем, мы делаем для женщин. И, стало быть, борьба, слава, богатство, почести, обмен квартиры и покупка пальто и так далее и тому подобное — все это делается ради женщины.

Ну, это он, конечно, перехватил немного, заврался на потеху буржуазии, но что касается личной жизни, то я с этим всецело согласен.

Я согласен, что женщина играет некоторую роль в личной жизни.

Все-таки, бывало, в кино пойдешь, не так обидно глядеть худую картину. Ну, там ручку поймаешь, разные дурацкие слова говоришь,— все это скрашивает современное искусство и бедность личной жизни.

Так вот, каково же мое самочувствие, когда раз однажды я вижу, что женщины на меня не смотрят!

Что, думаю, за черт? Почему на меня бабы не глядят? С чего бы это? Чего им надо?

Вот я прихожу домой и поскорей гляжусь в зеркало. Там, вижу, вырисовывается потрепанная физиономия. И тусклый взор. И краска не играет на щеках.

«Ага, теперь понятно!—говорю я сам себе.— Надо усилить питание. Надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку».

И вот я в спешном порядке покупаю разные продукты.

Я покупаю масло и колбасу. Я покупаю какао и так далее.

Все это ем, пью и жру прямо безостановочно. И в короткое время возвращаю себе неслышанно свежий, неутомленный вид.

И в таком виде фланирую по улицам. Однако замечаю, что дамы по-прежнему на меня не смотрят.

«Ага,— говорю я сам себе,— может быть, у меня выработалась дрянная походка? Может быть, мне не хватает гимнастических упражнений, висения на кольцах, прыжков? Может, мне недостает мускулов, на которые имеют обыкновение любоваться дамы?»

Я покупаю тогда висячую трапецию. Покупаю кольца и гири и какую-то особенную рюху.

Я вращаюсь, как сукин сын, на всех этих кольцах и аппаратах. Я верчу по утрам рюху. Я бесплатно колю дрова соседям.

Я, наконец, записываюсь в спортивный кружок. Катаюсь на лодках и на лодчонках.купаюсь до ноября. При этом чуть не тону однажды. Я ныряю сдуру на глубоком месте, но, не достав дна, начинаю пускать пузыри, не умея прилично плавать.

Я полгода убиваю на всю эту канитель. Я подвергаю жизнь опасности. Я дважды разбиваю себе голову при падении с трапеции.

Я мужественно сношу все это и в один прекрасный день, загорелый и окрепший, как пружина, выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку.

Но этой улыбки опять не нахожу.

Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои легкие. Краска начинает играть на моих щеках. Физия моя розовеет и краснеет. И принимает даже почему-то лиловый оттенок.

Со своей лиловой физиономией я иду однажды в театр. И в театре, как ненормальный, кручусь вокруг женского состава, вызывая нарекания и грубые намеки со стороны мужчин и даже толкание и пихание в грудь.

И в результате вижу две-три жалкие улыбки, каковые меня мало устраивают.

Там же, в театре, я подхожу к большому зеркалу и люблюю на свою окрепшую фигуру и на грудь, которая дает теперь с напружкой семьдесят пять сантиметров.

Я сгибаю руки и выпрямляю стан и расставляю ноги то так, то так. И искренне удивляюсь той привередливости, того фигуранья со стороны женщин, которые либо с жиру бесятся, либо, пес их знает, чего им надо.

Я люблюю в это большое зеркало и вдруг замечаю, что я одет неважно. Я прямо скажу — худо и даже безобразно одет. Прекороткие штаны с пузырями на коленях приводят меня в ужас и даже в содрогание.

Но я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описанию которых не место в художественной литературе.

«Ах, теперь понятно! — говорю я сам себе. — Вот что сокрушает мою личную жизнь, — я плохо одеваюсь».

И, подавленный, на скрюченных ногах, я возвращаюсь домой, давая себе слово переменить одежду.

И вот в спешном порядке я строю себе новый гардероб. Я шью по последней моде новый пиджак из лиловой портъеры. И покупаю себе брюки «оксфорд», сшитые из двух галифе.

Я хожу в этом костюме, как в воздушном шаре, огорчаясь подобной моде.

Я покупаю себе пальто на рынке с широкими плечами. И в выходной день однажды выхожу на Тверской бульвар.

Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами.

Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха.

Мужчины — те смотрят менее косо. Раздаются ихние замечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих всей ситуации.

Там и сям слышу фразы:

— Эво, какое чучело! Поглядите, как, подлец, нарядился!

Меня осыпают насмешками и хохочут надо мной.

Я иду, как сквозь строй, по бульвару, неясно на что-то надеясь.

И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством.

Я улыбаюсь в ответ и присаживаюсь на скамеечку, что напротив.

Прилично одетая дама, с остатками поблекшей красоты, пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано все хорошее.

Я наклоняю голову, повожу плечами и мысленно люблюсьстройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин.

Потом снова обращаюсь к даме, которая теперь, вижу, буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением.

Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху у этого существа. И уже хочу уйти. И уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать куда глаза глядят, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики.

Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит:

— Извините, уважаемый... Очень, — говорит, — мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку.

«Ну да, конечно, — думаю, — неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты».

Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой.

Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто! Краденое пальто, которое теперь этот прохвост (то есть я) носит на своих плечах.

Ее стенания режут мне уши. Я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто.

Мы идем в милицию, где составляют протокол. Мне задают вопросы, и я правдиво на них отвечаю.

А когда меня между прочим спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру и вдруг от этой почти трехзначной цифры прихожу в содрогание.

«Ах, вот отчего на меня не смотрят! — говорю я сам себе. — Я попросту постарел. А я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни».

Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и налегке, со смятым сердцем, выхожу на улицу.

«Ну, ладно, обойдусь! — говорю я сам себе. — Моя личная жизнь будет труд. Я буду работать. Я принесу людям пользу. Не только света в окне, что женщина».

Я начинаю издеваться над словами буржуазного ученого.

«Это брехня! — говорю я себе. — Это досужие выдумки! Типичный западный вздор!»

Я хохочу. Плюю направо и налево. И отворачиваюсь от проходящих женщин.

1933—1935

НЕРАВНЫЙ БРАК

Есть знаменитая картина из прежней жизни. Называется: «Неравный брак».

На этой картине нарисованы, представьте себе, жених и невеста.

Жених — такой, вообще, престарелый господинчик, лет этак, может быть, семидесяти трех с хвостиком. Такой, вообще, крайне дряхлый, обшарпанный субъект, на которого зрителю глядеть мало интереса.

А рядом с ним невеста. Такая, представьте себе, молоденькая девочка в белом подвенечном платье. Такой, буквально, птенчик, лет, может быть, девятнадцати.

Глазенки у нее напуганные. Церковная свечка в руках трясется. Голосок дрожит, когда брюхастый поп спрашивает: ну, как, довольна ли, дура такая, этим браком?

Нет, конечно, на картине этого не видеть, чтоб там и рука дрожала и чтоб поп речи произносил. Даже, кажется, и попа художник не изобразил по идеологическим мотивам того времени. Но все это вполне можно представить себе при взгляде на эту картину.

В общем, удивительные мысли навеивает это художественное полотно.

Такой, в самом деле, старый хрен мог до революции вполне жениться на такой крошке. Поскольку, может быть, он — «ваше сиятельство», или он сенатор, и одной пенсии он, может

быть, берет свыше как двести рублей золотом, плюс поместья, экипаж и так далее. А она, может, из бедной семьи. И мама ее нажучила: дескать, ясно, выходи.

Конечно, теперь всего этого нету. Теперь все это благодаря революции кануло в вечность. И теперь этого не бывает.

У нас молоденькая выходит поскорей за молоденького. Более престарелая решается жить с более потрепанным экземпляром. Совершенно старые переключаются вообще на что-нибудь эфемерное — играют в шашки или гуляют себе по набережной.

Нет, конечно, бывает, что молоденькая у нас иногда выходит за пожилого. Но зато этот пожилой обыкновенно какой-нибудь там крупнейший физиолог, или он ботаник, или он чего-нибудь такое изобрел всем на удивление, или, наконец он ответственный бухгалтер, и у него хорошая материальная база на двоих.

Нет, такие браки не вызывают неприятных чувств. Тем более тут можно искренне полюбить — может, это какая-нибудь одаренная личность, хороший оратор или у него громадная эрудиция и прекрасный голос.

А таких дел, какие, например, нарисованы на вышеуказанной картине у нас, конечно, больше не бывает. А если что-нибудь вроде этого и случается, то это вызывает всеобщий смех и удивление.

Вот, например, какая история произошла недавно в Ленинграде.

Один, представьте себе, старик из обыкновенных служащих неожиданно в этом году женился на молоденькой.

Ей, представьте себе, лет двадцать, и она интересная красавица, приехавшая из Пензы. А он старик, лет, может быть, шестидесяти. Такой, вообще, облезлый тип. Морда какая-то у него потрепанная житейскими бурями. Глаза какие-то посредственные, красноватые. В общем, ничего из себя не представляющая личность, из таких, какие в каждом трамвае по десять штук едут.

И к тому же он плохо может видеть. Он, дурак, дальтонизмом страдает. Он не все цвета может различать. Он зеленое принимает за синее, а синее ему, дураку, мерещится белым.

В довершение всего он был женат. И вдобавок ко всему жил со своей старухой в крошечной комнатке.

И вот тем не менее, имея такие дефекты и минусы, он неожиданно и всем на удивление женится на молодой прекрасной особе.

Окружающим он так объяснил это явление: дескать, новая эра, дескать, нынче даже старики кажутся молодыми и довольно симпатичными.

Окружающие ему говорят:

— Вы поменьше занимайтесь агитацией и пропагандой, а вместо этого поглядите, чего ей от вас нужно. Это же анекдот, что она за вас выходит замуж.

Старик говорит:

— Кроме своей наружности и душевных качеств, я ничего материального не имею. Жалованье маленькое. Гардероб — одна пара брюк и пара рваных носовых платков. А что касается комнаты, этой теперешней драгоценности, то я живу пока что со своей престарелой супругой на небольшой площади, какую я намерен делить. И в девяти метрах, с видом на помойку, я буду, как дурак от счастья, жить с той особой, какую мне на старости лет судьба послала.

Окружающие ему говорят:

— А ну вас к лешему! Вас не убедить.

И вот он разделил площадь. Устроил побелку и окраску. И в крошечной комнатке из девяти метров начал новую великолепную жизнь рука об руку с молодой цветущей особой.

Теперь происходит такая ситуация.

Его молодая подруга жизни берет эту крошечную комнату и меняет ее на большую. Поскольку нашелся человек, которому дорого было платить, и он хотел иметь свои законные девять метров, без излишков.

И вот она со своим дураком переезжает на эту площадь, в которой четырнадцать метров.

Там живет она некоторое время, после чего проявляет бешеную энергию и снова меняет эту комнату на комнату уже в двадцать метров. И в эту комнату снова переезжает со своим старым дураком.

А переехав туда, она с ним моментально ссорится и дает объявление в газету: дескать, меняю чудную комнату в двадцать метров на две небольшие в разных районах.

И вот, конечно, находится пара, которая мечтает пожить совместно, и за эту комнату они с радостью отдают две свои.

Короче говоря: через два месяца после, так сказать, совершения таинства брака наш старый дурак, мало чего понимая, очутился в полном одиночестве в крошечной комнатке за городом, а именно — в Озерках.

А молодая особа поселилась на Васильевском острове, в не-большой, но славной комнатке.

А вскоре, имея эту комнату, она вышла замуж за молодого инженера, и теперь она бесконечно счастлива и довольна.

Старый дурак хотел подать в суд на эту особу за надувательство. И даже он разговаривал по этому поводу с одним юристом. Но этот юрист, из бывших адвокатов, весело посмеявшись,

заявил, что обман этот доказать крайне трудно и к тому же молодая особа, может быть, искренне увлекалась им и, только узнав его поближе, разочаровалась.

На этих сладких мечтах наш старый дурень и успокоился. И теперь он ежедневно трясется на поезде, выезжая из этих своих Озерков на службу.

В общем, как говорится, не угадал папаша. Старого воробья провели на мякине. А он расчувствовался, фантазию построил, всякие мечты, за что и пострадал сверх всякой меры.

1935—1936

СПИ СКОРЕИ

Откровенно говоря, я не люблю путешествовать. Меня останавливает вопрос, где переночевать.

Из ста случаев мне только два раза удалось в гостинице комнату зацепить.

И то в последний раз я получил номер отчасти случайно. Они меня не за того приняли. Потом-то, на другой день, они, конечно, спохватились и предложили очистить помещение, но я и сам уехал.

А сначала любезность их меня удивила.

Портье, нюхая розу, сказал:

— Только осмелюсь вам сказать, ваш номер будет с дефектом. Там у вас окно разбито. И если, допустим, ночью кошка в ваш номер прыгнет, так вы не пугайтесь.

Я говорю:

— А зачем же кошка будет ко мне прыгать? Вы меня удивляете.

Портье говорит:

— Видите, там у нас в аккурат на уровне окна имеется поймающая яма, так что животные не разбираются, где чего есть, а прыгают, думая, что это то же самое.

Конечно, когда я вошел в номер, я всецело понял психологию кошек. Они смело могли не разобраться в действительности.

Вообще говоря, номер «люкс» мне не нужен, но эта грязная каморка с колченогим стулом меня немного покорибила.

Главное, меня удивило, что в комнате была лужа.

Я стал звать кого-нибудь, чтобы это убрать, но никто не пришел. Тогда я разговорился с портье.

Он говорит:

— Если у вас имеется лужа, то, наверно, я так думаю, кто-нибудь там воду опрокинул. Сегодня у меня нет свободного

персонала, но завтра я велю эту лужу вытереть, тем более что к утру она, наверно, и сама высохнет. Климат у нас теплый. Я говорю:

— Потом номер уж очень жуткий. Темно, и из мебели всего один стул, кровать и какой-то ящик. Конечно,— говорю,— разные бывают гостиницы. Недавно,— говорю,— в Донбассе, а именно в Константиновке, я вместо одеяла покрывался скатертью.

— До скатертей мы не доходим,— сказал портье,— но вместо пододеяльников у нас действительно положены короткие отрезы. А что касается темноты, то, конечно, вам не узоры писать. Спите скорей, гражданин, и не тревожьте администрацию своей излишней болтовней.

Я не стал с ним спорить, чтобы не разгуляться, и, придя в номер, разделся и юркнул в кровать.

Но в первую минуту я даже не понял, что со мной. Я, как на горке, съехал вниз.

Я хотел приподняться, чтобы посмотреть, какая это кровать, что на ней так удобно съезжать. Но тут запутался ногами в простыне, в которой были дырки. Выпутавшись из них, я зажег свет и осмотрел, на чем я лежу.

Оказалось, что, начиная от изголовья, продавленная сетка кровати устремлялась книзу, так что спящему человеку действительно не было возможности удерживаться в горизонтальном положении.

Тогда я положил подушку в ноги, а под нее сунул свой чемодан и таким образом лег наоборот.

Но тут оказалось, что я не лежу, а сижу.

Тогда я в середину сунул пальто и портфель. И лег на это сооружение с намерением, как говорится, задать храповицкого.

И вот я уже стал дремать, как вдруг меня начали кусать клопы.

Нет, два-три клопа меня бы не испугали, но тут, как говорится, был громадный военный отряд, действующий совместно с прыгающей кавалерией.

Я поддался панике, но потом повел планомерную борьбу.

Но когда борьба была в полном разгаре, вдруг неожиданно потух свет.

В полной незащитности я начал нервно ходить по номеру, ахая и причитая, как вдруг раздался стук в дощатую стену, и грубый женский голос произнес:

— Что вы тут, черт возьмись, вертитесь в комнате, как ненормальный!

В первую минуту я остолбенел, но потом у меня с соседкой началась словесная баталия, которую даже совестно передать,

поскольку, сгоряча и нервно настроенные, мы наговорили друг другу кучу самых архиобидных слов.

— Если я с вами, черт возьми, когда-нибудь встречусь, — сказала мне под конец соседка, — то я вам непременно дам плюху, имейте это в виду.

Мне прямо до слез хотелось ей на это что-нибудь возразить, но я благоразумно смолчал и только швырнул в ее стену ящик, чтобы она подумала, что я в нее стреляю. После этого она замолчала.

А я, отодвинув от стены постель, взял графин с водой и сделал вокруг кровати водяное кольцо, чтобы ко мне не прилезли посторонние клопы. После чего я снова лег, предоставив свое, как говорится, брэнное тело на волю божию.

Под адские укусы я уже стал засыпать, как вдруг за стеной раздался ужасный женский крик.

Я закричал соседке:

— Если вы нарочно завизжали, чтоб меня разбудить, то завтра вы мне ответите за свой хулиганский поступок.

Тут у нас снова поднялся словесный бой, из которого выяснилось, что к ней в кровать прыгнула со двора кошка и через это она испугалась.

Дурак портье, наверно, перепутал. Он мне обещал кошку, но у меня окно было целое, а у нее нет.

В общем, я опять задремал. Но, настроенный нервно, я то и дело вздрагивал. А при вздрагивании всякий раз меня будила сетка от кровати, которая издавала зловеющий звон, визжание и скрежет.

Начиналось утро. Я снял тюфяк с кровати и положил его на пол. Полное блаженство охватило меня, когда я лег на это славное ложе.

«Спи скорей, твоя подушка нужна другому», — сказал я сам себе, вспомнив, что такой плакат висел в прошлом году в Доме крестьянина в городе Феодосии.

В эту минуту во дворе раздался визг электрической пилы.

В общем, ослабевший и зеленый, я покидал мою злосчастную гостиницу.

Я решил, что моей ноги не будет в этом отеле и в этом городе. Но судьба решила иначе.

В поезде, отъехав сто километров, я обнаружил, что мне дали не мой паспорт. А так как это был дамский паспорт, то ехать дальше не представлялось возможности.

На другой день я вернулся в гостиницу.

Конечно, мне было адски неловко встретиться с моей соседкой, которая тоже, оказывается, уехала и теперь вернулась с моим паспортом.

Это оказалась славная девушка, инструкторша по плаванию. И мы с ней потом мило познакомились и позабыли о ночной драме. Так что пребывание в гостинице все же имело известные плюсы. И в этом смысле путешествия иной раз приносят забавные встречи.

1936

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома.

Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома.

А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои невероятные страдания.

Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попала какая-то особенная больница, где мне не все понравилось.

Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х».

Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, она на волоске висит, и вдруг приходится читать такие слова.

Я сказал мужчине, который меня записывал:

— Что вы,— говорю,— товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки,— говорю,— больным не доставляет интереса это читать.

Фельдшер, или как там его, лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит:

— Глядите: больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изорту не идет от жара, а тоже,— говорит,— наводит на все самокритику. Если,— говорит,— вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать.

Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, 39 и 8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал:

— Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве,— говорю,— можно больным такие речи слушать? Это,— говорю,— морально подкашивает их силы.

Фельдшер удивился, что тяжелобольной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила.

— Пойдемте, — говорит, — больной, на обмывочный пункт. Но от этих слов меня тоже передернуло.

— Лучше бы, — говорю, — называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, — говорю, — красивей и возвышает больного. И я, — говорю, — не лошадь, чтоб меня обмывать.

Медсестра говорит:

— Даром что больной, а тоже, — говорит, — замечает всякие тонкости. Наверное, — говорит, — вы не выздоровеете, что во все нос суете.

Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться.

И вот я стал раздеваться и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверно, из больных.

Я говорю сестре:

— Куда же вы меня, собаки, привели — в дамскую ванну? Тут, — говорю, — уже кто-то купается.

Сестра говорит:

— Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайтесь внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды.

Я говорю:

— Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, — говорю, — определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне.

Вдруг снова приходит лежком.

— Я, — говорит, — первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему, нахалу, не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее, может быть, около сорока температуры, и она ничего в расчет не принимает и все видит как сквозь сито. И уж, во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, — говорит, — я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания.

Тут купающаяся старуха подает голос.

— Вынимайте, — говорит, — меня из воды, или, — говорит, — я сама сейчас выйду и всех тут вас распатрону.

Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться.

И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть.

И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купания они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно, от злобы подбросили мне такой комплект не по мерке, но потом я увидел, что у них это — нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубашках, а большие — в маленьких.

И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубашке больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида, а на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди, и это морально унижало человеческое достоинство.

Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить.

А положили меня в небольшую палату, где лежало около тридцати разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжелобольные. А некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели. Другие играли в пешки. Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем.

Я говорю сестрице:

— Может быть, я попал в больницу для душевнобольных, так вы так и скажите. Я, — говорю, — каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар.

Та говорит:

— Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял?

Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание.

Только очнулся я, наверное, так думаю, дня через три.

Сестричка говорит мне:

— Ну, — говорит, — у вас прямо двужильный организм. Вы, — говорит, — сквозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, — говорит, — если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, — говорит, — вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением.

Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием — коклюшем.

Сестричка говорит:

— Наверно, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверно, неосторожно поку-

шали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули.

В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал: «Перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет».

А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, что у них чего-то не было, то кто-то не пришел, и нельзя было отметить. То, наконец, у них началось движение жён больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит:

— У нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только восемь дней перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то они терпят.

Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой.

Супруга говорит:

— Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится: «По получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа».

Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтоб с кем-нибудь там побраниться, но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел.

И теперь хвораю дома.

1936

ФОТОКАРТОЧКА

В этом году мне понадобилась фотокарточка для пропуска. Не знаю, как в других городах, а у нас на периферии заснять на карточку не является простым, обыкновенным делом.

У нас имеется одна художественная фотография. Но она, помимо отдельных граждан, снимает еще группы и мероприятия. И, может быть, поэтому слишком долго приходится ждать получения своих заказов.

Так что, являясь скорее отдельным лицом, чем группой или мероприятием, я побеспокоился заранее и заснял за два месяца до срока.

Когда мне подали мои фотокарточки, я удивился, как непохоже я вышел. Передо мной был престарелый субъект совершенно неинтересной наружности.

Я сказал той, которая подала мне карточки:

— Зачем же вы так людей снимаете? Смотрите, какие полосы и морщины проходят сквозь все лицо.

Та говорит:

— Обыкновенно снято. Только надо учесть, что у нас ретушер на бюллетене. Некому замазывать дефекты вашей нефотогеничной наружности.

Фотограф, находясь за портьерой, говорит:

— А чем он там еще, нахал, недоволен?

Я говорю:

— Неважно сняли, уважаемый. Изуродовали. Разве ж я такой?

Фотограф говорит:

— Я опереточных артистов снимаю, и то они настолько не обижаются. А тут нашелся один такой — морщин ему много... Объектив берет слишком резко, рельефно... Не знаете техники, а тоже суетесь быть критиком.

Я говорю:

— На что ж мне рельеф на моем лице, войдите в положение. Мне бы, говорю, просто сняться, как я есть. Чтоб было на что глядеть.

Фотограф говорит:

— Ах, ему еще глядеть нужно. Его ж сняли, и он еще на это глядеть хочет. Капризничает в такое время. Дефекты видит... Нет, я жалею, что я вас так прилично снял. В другой раз я вас так сниму, что вы со стоном на карточки взглянете.

Нет, я не стал с ним спорить. Неважно, думаю, какая карточка на пропуске. И так все видят, какой я есть.

И с этими мыслями являюсь в отделение. Сержант милиции стал лепить карточку на мой пропуск. После говорит:

— По-моему, на карточке это не вы.

— Где же, — говорю, — не я. Уверяю вас, это я. Спросите фотографа. Он подтвердит.

Сержант говорит:

— Всякий раз фотографа спрашивать, это что и будет. Нет, я хочу на карточке видеть данное лицо, без вызова фотографа. А тут я наблюдаю совсем не то. Какой-то большой сыпным тифом. Даже щек нет. Пойдите переснимитесь.

— Товарищ, — говорю, — начальник, войдите в положени...

— Нет, нет,— говорит,— и слышать ничего не хочу. Переснимитесь.

Бегу в фотографию. Говорю фотографу:

— Видите, как слабо снимаете. Не наклеивают вашу продукцию.

Фотограф говорит:

— Продукция самая нормальная. Но, конечно, надо учесть, что для вас мы не засветили полную иллюминацию. Снимали при одной лампочке. И через это тени упали на ваше лицо, затемнили его. Однако не настолько они его затемнили, чтоб ничего не видеть. Эвон как уши у вас прилично вышли.

— Ну хорошо,— говорю,— уши. А щеки,— говорю,— где? Уж щеки-то,— говорю,— должны быть как принадлежность человеческого лица.

Фотограф говорит:

— Не знаю. Ваших щек мы не трогали. У нас свои есть.

— Тогда,— говорю,— где же они, мои щеки? Я,— говорю,— две недели провел в доме отдыха. Четыре кило веса прибавил. А вы тут одной своей съемкой черт знает что со мной сделали.

Фотограф говорит:

— Да что, я себе взял ваши щеки, что ли? Кажется, вам ясно говорят — затемнение упало на них. И через это они не получились.

Я говорю:

— А как же тогда без щек?

— А,— говорит,— как хотите. Переснимать не буду. Всех переснимать — это я премии лишусь и плана не выполню. А мне план дороже вашей нефотогеничной наружности.

Посетители говорят мне:

— Не нервнируйте фотографа. А то он еще хуже будет людей снимать.

Один из посетителей говорит мне:

— Уважаемый, бегите на рынок. Там фотограф «Пушкой» снимает.

Бегу на рынок. Нахожу фотографа. Тот говорит:

— Нет, я снимаю только со своей бумагой. Без бумаги лучше не являйтесь ко мне, все равно снимать не буду. А с бумагой сниму. А если у вас есть перина — тоже сниму. Ко мне тетя из Барнаула приехала, ей спать не на чем.

Я было хотел уйти, но тут слышу, какой-то продавец меня к себе кличет. Говорит:

— Давай приходи к моему магазину. Имею готовую продукцию.

Смотрю, у него на газете разложены всякие разные готовые фотографии. Их штук триста.

Продавец говорит:

— Выбирай себе любую и делай с ней что хочешь. Хоть на лоб себе наклеивай. Погоди, я тебе сам подберу. Тебе как— по размеру или по сходству?

— По сходству, — говорю. — Только, — говорю, — выбирай такую, чтоб щеки были.

Тот говорит:

— Можно и со щеками. Но только они будут дороже на пять рублей. На, прими вот эту фотокарточку. Лучше ее не найди. И щеки есть, и нельзя сказать, чтоб сходство начисто отсутствовало.

Я заплатил тридцать рублей за две фотокарточки и пошел в отделение.

Сержант милиции стал лепить мою карточку. После говорит:

— Так ведь это ж баба.

— Где же, — говорю, — баба. Мужчина в пиджаке.

Сержант говорит:

— Где же к черту мужчина, если у него на груди брошка. Через эту брошку я и замечаю, что это баба.

Поглядел я на фотокарточку — вижу, действительно, женщина. Маркизетовая кофточка под пиджаком. На груди брошка с пейзажем. А прическа мужская. И щеки мои.

Сержант говорит:

— Явитесь сюда с настоящими карточками. Но если вы еще раз предъявите мне женскую или детскую фотокарточку, то вряд ли отсюда выйдете, поскольку у меня мелькают подозрения, что вы хотите скрыться под чужой наружностью.

Целую неделю я провел, как в тумане. Хлопотал, где бы сняться. На восьмой день, беседуя с фотографом, я почувствовал себя худо. И тогда они вынесли меня в сад и положили на траву, чтоб там меня овеял свежий воздух. Придя в себя, я пошел в отделение. Положил на стол свои первые фотокарточки без щек и сказал сержанту:

— Вот все, что я имею, товарищ начальник. И больше ничего не предвидится.

Сержант поглядел на карточки, потом на меня и говорит:

— Вот теперь ничего себе получилось. Похожи.

Я хотел сказать, что я и не переснимался вовсе. После взглянул на себя в зеркало — действительно, вижу, есть теперь некоторое сходство. Получилось.

Сержант говорит:

— И хотя на карточке вы немного более облезлый, чем на самом деле, но,— говорит,— я так думаю, что через год вы сравняетесь.

Я говорю:

— Я раньше сравняюсь, поскольку мне нужно еще сниматься для проездного документа, для членского билета и для посылки фотокарточек моим родственникам.

Тут сержант наклеил мою фотокарточку и горячо поздравил меня с получением пропуса.

1948

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | |
|--------------------------------|----|
| Аристократка | 3 |
| Стакан | 5 |
| Баня | 7 |
| Кризис | 9 |
| Медик | 12 |
| Качество продукции | 14 |
| Операция | 16 |
| Волокита | 18 |
| Прелести культуры | 20 |
| Кошка и люди | 22 |
| Слабая тара | 24 |
| Беспокойный старичок | 27 |
| Личная жизнь | 31 |
| Неравный брак | 35 |
| Спи скорей | 38 |
| История болезни | 41 |
| Фотокарточка | 44 |

Михаил Михайлович Зошенко
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Редактор — О. М. Шмелев.

Технический редактор А. И. Евтушенко.

Сдано в набор 19/VIII 1977 г. А 00431. Подписано к печати 17/XI 1977 г.
Формат 70×108^{1/2}. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,90.
Тираж 100 000. Изд. № 2907. Зак. № 1027. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП.
ул. «Правды», 24.



Государственные трудовые сберегательные кассы предоставляют населению возможность надежного хранения свободных денежных средств и совершения денежных расчетов, содействуют накоплению сбережений и использованию их в интересах развития народного хозяйства СССР.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ ВЫПОЛНЯЮТ ШИРОКИЙ КРУГ ОПЕРАЦИЙ:

- ПРИНИМАЮТ ДЕНЬГИ для зачисления во вклады и выдают их по первому требованию вкладчиков;
- ПЕРЕВОДЯТ ВКЛАДЫ по поручениям вкладчиков и наличные деньги из одной сберегательной кассы в другие;
- ВЫДАЮТ И ОПЛАЧИВАЮТ аккредитивы;
- ПРОДАЮТ И ПОКУПАЮТ облигации Государственного 3-процентного внутреннего выигрышного займа;
- ВЫПЛАЧИВАЮТ ВЫИГРЫШИ по облигациям государственных займов и лотерейным билетам;
- ВЫДАЮТ РАСЧЕТНЫЕ ЧЕКИ для расчетов населения с магазинами за приобретаемые товары длительного пользования;
- ПРИНИМАЮТ ПЛАТЕЖИ за квартиру, коммунальные и другие услуги;
- ПРОИЗВОДЯТ БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ по поручениям вкладчиков как в разовом порядке, так и в течение продолжительного времени.